

Легкая работа...

Предисловие

Есть книги, которые в комментариях не нуждаются. Не нуждаются в предисловиях, в послесловиях, трудно поддаются литературоведческим схемам и толкованиям, выскальзывают из любых формул, и вообще, ведут себя настолько независимо, будто, вырвавшись из-под пера писателя, решили полностью порвать со своим автором и дальше существовать самостоятельно.

У меня тоже есть такие книги. Одна из них — «Белая голубка Кордовы». Забавно, что задумывалась она как некое отдохновение. Легкая работа! За год до того вышел мой роман «Почерк Леонардо», оказавшийся для меня мучительно трудным в исполнении, трудным по охвату деталей и фактов, и очень трудным психологически. Сама необычная и странная героиня, ее детство, цирковая юность и молодость, обстоятельства жизни, и главное, ее удивительный провидческий дар буквально вытягивали из меня последние силы, и умственные и душевные. Даже обычный объем писательской работы был словно утроен: помимо топографических задач (там присутствовали Киев ее детства, Москва, Монреаль, Бостон, маленькие прирейнские городки, бесконечные дороги, со всей этой безумной цирковой повозкой) мне пришлось проживать и прописывать множество воздушно-акробатических сюжетов, алкогольно-музыкальных мотивов биографии фаготиста Сени, возлюбленного

6 моей героини; оптику, фокусы с зеркалами... Словом, это была адская работенка, вернее, целый вагон непрошенных адских задач. Не говоря уже о психологической нагрузке: ведь героиня в финале просто... исчезала, и надо было как-то подготовить этот трюк для непростодушного читателя.

Когда роман вышел, я решила, что для следующей книги выберу какую-нибудь родственную тему, что-то прожитое-исхоженное, знакомое до кончиков пальцев, до самых распоследних мелочей. Словом, легкую работу.

Ну, так и не было нужды далеко искать: дочь художника, жена художника, я всю жизнь кручусь в мире холстов и красок, вечно спотыкаюсь о расставленный мольберт, вечно ругаюсь на засилье подрамников и бутылки с разбавителями... Это все мое с детства: я и модель, я и уборщица, я и слушатель, и зритель. Всерьез полагая, что в этой области мне известно абсолютно и досконально всё, я стала обдумывать сюжет...

Однажды мы с мужем оказались в компании аукционистов и экспертов. Шумное и забавное было застолье: десятки аукционных баек. Это было время такое, начало века, когда аукционные дома Европы и мира были завалены искусными подделками под русских художников: Шишкин, Серов, Левитан и Коровин, Куинджи... ну и Малевич, и Кандинский, конечно, словом — на любой вкус. И каждый из гостей, перебивая другого, спешил рассказать еще какую-нибудь потрясающую, анекдотичную, а то и криминальную историю. В те годы уже был широко известен скандальный процесс над художником Ван Меегереном, который десятилетиями успешно подделывал картины великих художников, оставляя в дураках экспертов-искусствоведов.

Домой мы ехали в полном молчании. Я переваривала услышанное, муж тоже о чем-то молчал.

«Неужели так просто обмануть экспертов?» — наконец, спросила я Бориса.

«Экспертов — запросто, — задумчиво отозвался он. — Мало кто из них по-настоящему понимает в глубинной, мастеровой сути искусства. Все эти ребята, кого ты сегодня видела, — просто бывшие мальчишки и девочки с факультета истории искусств. Ни один из них не знает, что происходит с красками, когда их смешиваешь на палитре, а потом, что происходит с ними на холсте, спустя лет этак сто».

«А ты бы мог подделать... скажем, Фалька?»

«Ну, если поставить такую цель... Но в этом деле много чего завязано: нужен старый аутентичный холст, родной подрамник... Да и обстоятельства жизни художника надо знать чуть ли не поминутно: все периоды его творчества, когда, скажем, он в своей палитре стал активно использовать кадмий оранжевый или «Поль Веронезе».

Помнится, еще ничего не решив, я подумала: это ж надо, у меня тут под боком эксперт настоящий, а я целый вечер слушала, раскрыв рот, анекдоты тусовщиков от искусства. И не сразу, конечно, а постепенно, вечером за ужином или вдруг, ворвавшись в мастерскую мужа во время работы, я стала озадачивать его вопросами, советоваться по каким-то сюжетным идеям. Мы стали перебирать великие полотна, которые мог бы... не скопировать, нет, а просто *написать с нуля* такой вот умный, образованный, рискованный, талантливый... да нет — гениальный фальсификатор, который...

Как рождается литературный герой? Как он приходит к писателю, как этот *голем* становится живым, порывистым и требовательным существом, более живым и близким, чем друзья, соседи, а порой и родственники? Как зарождается в мире обманок и фальшаков дар подлинного художника, отчаянного головореза в искус-

8 стве, одним из драгоценных талантов которого является умение перевоплотиться в любого гения, стиль которого он виртуозно подделывает в картине? Как возникает человек, которого даже не деньги интересуют, а вот эта самая суть перевоплощения, запоздалая ухмылка Мастера за каменной стеной твердолобой глупости?

Захар Кордовин, один из самых близких мне, со-творенных лично мною людей, не сочинялся: он просто явился таким, каким и должен был жить в книге. Это один из редких случаев, когда главный герой романа ни с кем не делил своего пьедестала, не привел за собой возлюбленную, жизни и характеру которой пришлось бы посвятить немало страниц. Нет, несмотря на обилие лиц и персонажей вокруг, он — единственный премьер романа, властно и целиком занимающий все страницы своим удивительным даром, своей страстью, своей незаурядной натурой пирата и Художника. И потому, все пейзажи и детали большого романа, включая Винницу его детства, Ленинград его юности, его Иерусалим, его Рим, Толедо и Кордову, альпийскую деревушку и Стокгольм, и прочие блестящие столицы мировых аукционных событий — всё будто бы сходит с его картин, тщательно прописанных рукой непревзойденного Мастера.

И весь год, пока по 10, 12 часов в день писала эту книгу, проклиная свою самонадеянность и мечту о «легкой работе», дотошно изучая технику живописи, технику реставрации, топонимику городов, историю искусства, план зданий Ватикана... и прочее, прочее, прочее, — весь этот год Захар Кордовин мчался впереди меня, всегда опережал, всегда страстно подгонял, учил, растолковывал, ухмылялся и подбадривал; приходил в отчаяние и расставался с жизнью. И... воскресал!

... словом вел себя как настоящий Художник.

Дина Рубина

БЕЛАЯ ГОЛУБКА
КОРДОВЫ

Посвящается Боре

Нет на земле ни одного человека, способного сказать, кто он. Никто не знает, зачем он явился в этот мир, что означают его поступки, его чувства и мысли, и каково его истинное имя, его непреходящее Имя в списке Света...

*Леон Блуа
«Душа Наполеона»*

Часть I

Глава первая

1

Перед отъездом он все же решил позвонить тетке. Он вообще всегда первым шел на примирение. Главным тут было не заискивать, не сюсюкать, а держаться, словно бы и ссоры нет — так, чепуха, легкая размолвка.

— Ну, что, — спросил он, — что тебе привезти — *кастануэлас*?¹

— Иди к черту! — отчеканила она. Но в голосе слышалось некоторое удовлетворение, что — позвонил, позвонил все-таки, не умчался там крылышками трещать.

— Тогда веер, а, Жука? — сказал он, улыбаясь в трубку и представляя ее патрицианское горбоносое лицо в ореоле подсиненной дымки. — Прилепим тебе мушку на щечку, и выйдешь ты на балкон своей богадельни обмахиваться, как маха какая-нибудь, ядрён-корень.

— Мне ничего от тебя не надо! — сказала она строптиво.

— Вона как. — Сам он был кроток, как голубь. — Ну ла-адно... Тогда привезу тебе испанскую метлу.

¹ *Кастануэлас* (исп.) — кастаньеты.

14 — Что еще за испанскую? — буркнула она. И попалась.

— А на какой еще ваша сестра там летает? — воскликнул он, ликуя, как в детстве, когда одурачишь простофилю и скачешь вокруг с воплем: «Об-ма-ну-ли ду-ра-ка на че-ты-ре ку-ла-ка!»

Она швырнула трубку, но это было уже не ссорой, а так, грозой в начале мая, и уезжать можно было с легким сердцем, тем более что за день до размолвки он съездил на рынок и забил теткин холодильник до отказа.

* * *

Оставалось только *закруглить* еще одно дело, *сюжет* которого он выстраивал и разрабатывал (виньетки деталей, арабески подробностей) вот уже три года.

И завтра наконец на утренней зорьке, на фоне бирюзовых декораций, из пены морской (*лечебно-курортной*, отметим, пены), родится *новая Венера* за личной его подписью: последний взмах дирижера, патетический аккорд в финале симфонии.

Не торопясь, он уложил любимый мягкий чемодан из оливковой кожи, небольшой, но приемистый, как солдатская котомка: его утрамбуешь до отказа, *по самое*, как говорил дядя Сёма, *не могу*, — глядь, а вторая туфля все же влезла.

Готовясь к поездке, он всегда тщательно продумывал свой прикид. Помедлил над рубашками, заметил кремовую на синюю, вытащил к ней из связки галстуков в шкафу темно-голубой, шелковый... Да: и запонки, а как же. Те, что подарила Ирина. И те, другие, что подарила Марго, — обязательно: она приметливая.

Ну, вот. Теперь *эксперт* одет достойно на все пять дней *испанского проекта*.

Почему-то слово «эксперт», про себя произнесенное, рассмешило его настолько, что он захохотал, даже повалился ничком на тахту, рядом с открытым чемоданом, и минуты две смеялся громко, с удовольствием, — он всегда заразительней всего хохотал наедине с собой.

Продолжая смеяться, перекатился к краю тахты, свесился, вытянул нижний ящик платяного шкафа и, порывшись среди мятых трусов и носков, вытащил пистолет.

Это был удобный, простой конструкции «глок» системы Кольта, с автоматической блокировкой ударника, с несильным плавным откатом. К тому же при помощи шпильки или гвоздя его можно было разобрать в одну минуту.

Будем надеяться, дружище, что завтра ты пропнешь в чемодане всю важную встречу.

Поздним вечером он выехал из Иерусалима в сторону Мертвого моря.

Не любил съезжать по этим петлям в темноте, но недавно дорогу расширили, частью осветили, и верблюжьи горбы холмов, что прежде сдавливали тебя с обеих сторон, проталкивая в воронку пустыни, словно бы нехотя расступились...

Но за перекрестком, где после заправочной станции дорога поворачивает и идет вдоль моря, освещение кончилось, и набухшая солью гибельная тьма — та, что лишь у моря бывает, у *этого* моря, — навалилась вновь, шибая в лицо внезапными фарами встречных машин. Справа угрюмо громоздились черные скалы Кумрана, слева угадывалась черная, с внезапным асфальтовым проблеском соляная гладь, за

16 которой далекими огоньками слезился иорданский берег...

Минут через сорок из тьмы внизу взмыло и рассыпалось праздничное созвездие огней: Эйн Бокек, со своими отелями, клиниками, ресторанами и магазинчиками — приют богатого туриста, в том числе и убогого чухонца. А дальше по берегу, на некотором расстоянии от курортного поселка, одиноко и величаво раскинул в ночи свои белые, ярко освещенные палубы гигантский отель «Нирвана» — в пятьсот тринадцатом номере которого Ирина, скорее всего, уже спала.

Из всех его женщин она была единственной, кто, как и он, дай ей волю, укладывалась бы с петухами и с ними же вставала. Что оказалось неудобным: он не любил делить с кем бы то ни было свои рассветные часы, берег запас пружинистой утренней силы, когда впереди огромный день, и глаза остры и свежи, и кончики пальцев чутки, как у пианиста, и башка отлично варит, и все удается в курящемся дымке над первой чашкой кофе.

Ради этих драгоценных рассветных часов он частенько уезжал от Ирины поздней ночью.

Въехав на стоянку отеля, припарковался, достал из багажника чемодан и, не торопясь, продлевая последние минуты одиночества, направился к огромным карусельным лопастям главного входа.

— Спишь?! — шутливо гаркнул охраннику-эфиопу. — А я бомбу принес.

Тот встрепенулся, зыркнул белками глаз и недоверчиво растянул в темноте белую гармонику улыбки:

— Да ла-а-дно...

Они знали друг друга в лицо. В этом отеле, многолюдном и бестолковом, как город, стоящем в сторо-

не от курортного поселка, он любил назначать деловые встречи, последние, итоговые: тот самый завершающий аккорд симфонии, к которому *интересанту* надо еще пилить по неслабой дороге, меж нависших над морем скалистых зубов, затянутых скрепами и сеткой исполинского дантиста.

И правильно: как говорил дядя Сёма — *не потопяешь — не полопаешь*. (Впрочем, сам дядя *топнуть* своим ортопедическим ботинком ни за что бы не смог.)

Вот он, пятьсот тринадцатый номер. Бесшумное краткое соитие замочной прорези с электронным ключом, добытым у осовелой дежурной: *понимаете, не хочу будить жену, бедная страдает мигренями и рано укладывается...*

Никакой жены у него сроду не было.

Никакими мигренями она не страдала.

И разбудить ее он собирался немедленно.

Ирина спала, как обычно, завернутая в кокон одеяла, как белый сыр в друзскую питу. Вечно упакуется, зароется, да еще под бока подоткнет — хоть археологов нанимай.

Бросив на пол чемодан и куртку, он на ходу стянул свитер, скovyрнул — нога об ногу — кроссовки и рухнул рядом с ней на кровать, еще в джинсах — замок застрял на бугристом изломе молнии — и в майке.

Ирина проснулась, и они завозились одновременно, пытаясь высвободиться из одеяла, из одежды, мыча друг другу в лицо:

— ...ты обещал, бессовестный, обещал...

— ...и сдержу обещание, человек ты в футляре!

— ...ну, что ты, как дикий, набросился! погоди...
постой минутку...

— ...уже стою, ты не чувствуешь?
— ...фу, наглец... ну дай же мне хотя бы...
— ...кто ж тебе не дает... вот, пожалуйста, и вот...
и вот... и... во-о-о-о-о...

...В открытой двери балкона солидарная с ним в ритме лимонная луна то взмывала над перилами со своим лупоглазым бесстыдным «Браво!», то опускалась вниз, сначала медленно и плавно, затем все быстрее, быстрее — словно увлекшись этими, новыми для нее, качелями, — то увеличивая, то сокращая размах взлета и падения. Но вот замерла на головокружительной высоте, балансируя, будто в последний раз озирая небесную округу... и вдруг сорвалась и помчалась, ускоряя и ускоряя темп, едва ли не задыхаясь в этой гонке, пока не застонала, не забилась, не вздрогнула освобождено и — не затихла, в изнеможении повиснув где-то на задворках небес...

...Затем Ирина плескалась в душе, то и дело переключая горячую струю на холодную (сейчас зайвится в постель — мокрая, как утопленник, и давай, грей ее до собственного посинения), а он пытался взглядом проследить в окне микроскопические передвижения бледно-одутловатого светила, своего недавнего партнера по свальному греху.

Наконец поднялся и вышел на балкон.

Гигантский отель погружен был в оцепенелый сон на краю мерцающего соляного озера. Внизу, в окружении пальм, полированной крышкой рояля лежал бассейн, в котором скакала желтая ломкая луна. В трех десятках метров от бассейна тянулся пляж с членистоногими пирамидками собранных на ночь пластиковых лежаков и кресел.

Стылое мерцание соли вдали сообщало неподвижной ночи ледяное безмолвие, нечто новогоднее — вроде ожидания чудес и подарков.

Что ж, за подарками дело не станет.

— Ты с ума сошел: голым — на балкон? — послышался за спиною бодрый голос. — Стыд у тебя есть элементарный? Люди же кругом...

Иногда ее хотелось не то чтобы выключить, но слегка убавить звук.

Он закрыл балконную дверь, задернул штору и зажег настольную лампу.

— Ты поправились... — задумчиво проговорил он, валясь на кровать и разглядывая Ирину в распахнутом махровом халате. — Мне это нравится. Ты сейчас похожа на Дину Верни.

— Что-о-о?! Что это за баба?

— Натурщица Майоля. Скинь-ка этот идиотский халат, ага... и повернись спиной. Да, те же пропорции. При тонкой спине сильная выразительная линия бедер. И плечо сейчас так плавно восходит к шее... Ай-яй, какая натура! Жаль, что я сто лет карандаш в руки не брал.

Она хмыкнула, плюхнулась в глубокое кресло рядом с кроватью и потянулась к пачке сигарет.

— Ну, давай валяй... Расскажи мне еще что-нибудь про меня.

— Эт пожалуйста! Понимаешь, когда женщина чуток набирает весу, ее грудь становится благодстней, щедрее... улыбчивей. И цвет кожи меняется. Нежный слой подкожного жира дает телу более благородный, перламутровый оттенок. Возникает такая... ммм... прозрачность лессировок, понимаешь?

Он уже не прочь был вздремнуть перед рассветом хотя бы часик-полтора. Но Ирина закурила и была бодрa и напористa. Того гляди, вновь потребует

20 к священной жертве. Главное, чтоб не принялась от-
ношения выяснять.

— И потом, знаешь... — зевнув и поворачиваясь на бок, продолжал он, — вот это мерное колыхание бедер, вид сзади и сверху, оно сводит с ума, если еще ладонями...

— Кордовин, гад! — перегнувшись, она швырнула в него пустой сигаретной пачкой. — Ты прямо сирена злокозненная, Кордовин! Казанова какой-то, пошлый соблазнитель!

— Не-а, — бормотнул он, неудержимо засыпая. — Я просто... влюбленный...

Все это было сущей правдой. Он любил женщин. Он действительно любил женщин — их быстрый ум, земную толковость, цепкий глаз на детали; не уставал повторять, что если женщина умна, то она опаснее умного мужчины: ведь обычная проницательность обретает тогда еще и эмоциональную, поистине звериную чуткость, улавливает — поверху, *по тяге* — то, что никакой логикой не одолеешь.

Он дружил с ними, предпочитал с ними вести дела, считал более надежными товарищами и вообще — лучшими людьми. Часто аттестовал себя: «Я очень женский человек». Всегда умел согреть и всегда находил — чем полюбоваться в каждой.

* * *

Проснулся он, как обычно, в пять тридцать. Уже много лет какой-то усердный и неумолимый ангел заводил где-то в вышних казармах побудку, и минута в минуту — какой бы сон ни снился, какая бы усталость ни свалила его два часа назад, — в пять тридцать он обреченно открывал глаза... и, чертыхаясь, плелся в душ.

Но до этого ему сегодня опять *показали жестянку*.

Вроде как он поднимается, с усилием ворочая торсом, — в *этих* снах всё всегда происходит с неотменимой чередой тяготящихся движений — садится на постели, с трудом разлепляет глаза... И видит: на гостиничном журнальном столике — *стоит*. Ах ты, мать честная! — стоит та самая, *мятая жестянка*... Нет, говорит он себе (все следует давно вызубренному сценарию проклятого сна), — не жестянка, скотина ты этакая, а субботний серебряный кубок, старинная фамильная вещь, хотя и — да, слегка примятый сбоку; но это ведь потому, что с грузовика упал. И Жука, сирота (война, зима, эвакуация), не побоялась, сама полезла под колесо, достала! А ты, мерзавец, подонок и прохвост... пошел и сдал в антикварную скупку, глазом бесстыжим не моргнув. И, главное, вот сейчас давно прочел бы — что там по кругу было выбито. В те годы не мог, не понимал диковинных закорючек, а сейчас бы запросто прочел, ведь то наверняка был иврит?

Ну, Жу-у-ка, простонал он, как всегда (сценарий движется, сон катится под гору, вернее, мучительно вкатывается в гору), — я же сто раз прощения... я осознал... искал! Да что мы опять ссоримся, ей-богу: вот же он — стоит! Стоит — темный, массивный, давно не чищенный — так что и кораблик неразличим, — на серебряной своей юбочке...

И он тянет пудовую руку, с усилием, как воду, преодолевая толщу сна. Тянет руку, тянет... Хватает наконец тяжелый кубок, вертит в пальцах, подносит к глазам. И плывет по трем легким волнам трехмачтовый галеон, и вьются по серебряной юбочке угловатые — и такие понятные теперь — буквы: *«Поезд на Мюнхен отходит со второго перрона в 22.30»*.

22 И тогда лишь проснулся. Вроде проснулся-таки. Господи, доколе... *Прости, Жука!*

Он долго стоял под жгучими плетками воды, потом резко переключил на холодную и с минуту, охая от удовольствия, растирался жесткой мочалкой, которую повсюду с собой возил.

Затем побрился, не торопясь, тихо насвистывая, чтобы не разбудить раньше времени удава там, на кровати... Славного полненького удава, чьи упругие кольца, так сладко пульсируя, сжимают... м-да. Все же не надо позволять ей полнеть и дальше.

Старательно выбривая выпяченный подбородок (в ежеутреннем бритье это главная мука — крутой, как твердое яблочко, подбородок с труднодоступной выемкой под нижней губой), он внимательно рассматривал себя в просторном зеркале ванной.

А ты слегка подсох, парень... Дядя Сёма сказал бы: *подобрался*. В молодости был скорее крепышом. Часто даже за боксера принимали. Сейчас утоньшился, согласно образу. Нос как-то... окостенел, что ли... Аристократ-с, твою мать.

Только ежик густых черных волос (фамильно устойчивый пигмент, небрежно отвечал он на комплименты) и такие же смоляные брови, прямые и почти сросшиеся над глубоко посаженными серыми глазами, были прежними. Да вот еще эти вертикальные черточки в углах рта, что всегда сообщали его лицу выражение детского дружелюбия, вечной готовности растянуть губы в улыбке: *я люблю тебя, мой огромный добрый мир...* Да, это наш козырь. Может, это твой единственный козырь, а, парень?

Когда на цыпочках он вышел из ванной, чтобы достать из чемодана рубашку и костюм, выяснилось, что и Ирина проснулась — черт, как некстати эта ее жаворонковая природа! — и лежит в своем коконе,

лохматая, в отвратительном настроении и полной боевой готовности.

— Трусливо сбегаешь, — она внимательно и насмешливо наблюдала за тем, как он одевается.

— Ага, — он широко ей улыбнулся. — Ужасно трушу! Я вообще тебя очень боюсь и раболепно выслуживаюсь. Глянь-ка на эти запонки. Узнаешь? Обожаю их, всем демонстрирую: «подарок любимой женщины».

— Любимой женщины. Да их у тебя в каждом городе штук по сто.

— Сто?! Зачем же столько, о боже! «Кому это надо, и кто это выдержит», — говорил мой винницкий дядя Сёма...

— Какая ты сволочь, Кордовин! Мы же решили, что теперь всегда будем ездить вместе.

Вот это она зря. Гнусное коммунальное сочленение — «мы». *Пожизненное мычание, мыловарение мылолетней мылости любви...* Нехороший симптом. Неужели придется преобразовывать ее из любовницы в подругу? Жаль, с ней хорошо, с Ириной-то. По сути дела, с ней за эти три года сложилась идеальная жизнь, без всяких подлых «мы»... «нам»... *Нам, детка, строить и жить помогает* именно одинокая наша чуткость, волчья поджарость, трепетание крыльев носа в предчувствии взятого следа. Какое уж там «мы».

— Не заставляй опять штаны снимать, хозя-а-ай-ка, — придурковато-жалобно затянул он, — за-а-адница стынет! Вишь, я уже в портупее.

И все же подошел к кровати, прилег — прямо в костюме — рядом с ней, заспанной, несчастной, нащупал и безжалостно вытащил из одеяльного свертка ее голую руку, принялся целовать, поднимаясь от пальцев и до плеча: подробно, дельно, по сантиметру, приговаривая что-то шутиливо-докторское.

24 Его правилом было: никаких уменьшительных. Все только полными, звучными прекрасными именами. Женское имя священо, сокращать его — кошунство, сродни богохульству.

И она отмякла, рассмеялась от щекотки, прижала к уху голое плечо.

— Вкусно пахнешь: жасмин... зеленый чай... Это что за одеколон?

— «Лёкситан». В дьюти-фри всучили, в Бостоне. Там продавалка такая старательная попалась, на совесть работала. «Старинная фирма, старинная фирма... флаконы ручной работы». Купил, чтоб отстал. — Он сел на постели, мельком глянул на часы. — Послушай, радость моя, серьезно: не огорчайся. Ну, что за удовольствие торчать на университетской конференции с унылым названием «El Greco: un hombre que no se traiciono a si mismo»?

— Что это значит?

— Какая разница? Это значит «Эль Греко: человек, который не предал самого себя». Бессмысленная тема, очередная бессмысленная конференция. Толедо, в общем, угрюмый город, да еще в дождливом апреле. Ей-богу, лучше здесь загорать. Тебе еще подкинуть бабла на эти ванны... ну, из водорослей? «Мадам на отдыхе, мадам имеет право».

Это была одна из их любимых фразочек, которых за три года накопилось немало: замечание продавца дорогого магазина в Сорренто, где Ирина пыталась не позволить «ухнуть страшные деньги на сумочку».

Она рассмеялась и сказала:

— Ладно, проваливай. Когда у тебя самолет?

Он теперь уже открыто и озабоченно глянул на часы:

— О-о... бегу-бегу! А то не успеть.

Вскочил, подхватил куртку, чемодан, в дверях обернулся — чмокнуть воздух в направлении кровати. Но Ирина уже опять плотно упаковалась, лишь всклокоченная макушка торчит из одеяла. *Бедная ты моя, брошенная...*

Тихо притворил за собою дверь.

Спустившись по лестнице на один этаж, он остановился, прислушался к тишине еще спящего отеля: где-то внизу, у бассейна, гулко и безмятежно переговаривались уборщики, тяжело протаскивая по мокрому бетону удавы кольца резиновых шлангов. Привалившись спиной к двери, он открыл молнию на чемодане и вытянул две вещи: вязаную синюю перчатку на правую руку — странную, с прорезями для подушечек пальцев, — и свой безгрешный пока автоматический «глок».

Впрочем, зачем же так сразу... напрягаться. Он опустил пистолет в карман пиджака, натянул перчатку, шевеля пальцами, как пианист перед первым бравурным пассажем, затем достал мобильник и набрал номер.

— Владимир Игоревич? Не разбудил?

В ответ благодарной волной покатилося:

— Захар Миронович, дорогой! Здравствуйте! Вот замечательно, что не подвели. А я с шести на ногах и места себе не нахожу. Так когда вам удобно? Я в четыреста втором номере.

— Ну и отлично, — отозвался он. — Через минуту зайду.

И пистолет снова нырнул в зубастую щель чемоданной молнии: такую взволнованную почтительную благодарность, какая звучала в голосе клиента, сымитировать трудно. А у него был острейший, звериный слух и глаз на оттенки и интонацию.

26 И правда: надраенный до блеска Владимир Игоревич, трепеща брюхом, ждал его в отворенной двери апартаментов. Интересно, какими заветными тропками пробирается он ежеутренней бритвой среди всех своих бородавок? И почему не отпустит бороду — или в негласном кодексе этих *новых крёзов* борода, как укывательство, есть знак тайного умысла?

— Не через порог! — воскликнул толстяк, отступая и держа наготове ладонь лопаткой.

По некоторым окольным сведениям, новоиспеченный коллекционер владеет какими-то заводами в Челябинске. Или приисками? И не в Челябинске, а на Чукотке? Бог его знает, не суть важно. Благослови архангел Гавриил всех, кто вкладывает деньги в кусок холста, промазанный казеиновым клеем и покрытый масляными красками.

Действительно, ждал и волновался: в отворенной двери спальни видна была по-солдатски аккуратно застеленная кровать.

Картина — холст, натянутый на подрамник, — ждала своего часа, повернутая лицом к спинке дивана.

Как все же трогательны эти любители-коллекционеры. Все они трепещут перед тем первым мигом, когда картину пронзают рентгеновские очи эксперта. Еще, бывает, накидывают на диван или кресло, куда водружают картину, белую простыню, дабы уберечь драгоценное зрение *знатока* от назойливого цветового окружения. Цветовая антисептика операционной или детская игра *закрой покрепче глазки, откроешь, когда скажу!*

В таком случае, дорогой Владимир Игоревич, вы услышите сейчас небольшую лекцию о ничтожестве и эфемерности этого самого *знаточества*.

Он опустил чемодан на пол, бросил поверх него куртку.

— Ничего, что я левую протягиваю? — спросил, неловко пожимая (следовало бы извернуться и протянуть ладонь из-за спины) пухлую лапу коллекционера и улыбаясь одной из самых открытых своих улыбок. — Многолетний артрит, прошу меня извинить. От боли, бывает, вскрикиваю, как баба.

— Да что вы! — огорчился толстяк. — А вы пробовали «Золотой ус»? Моя жена очень хвалит.

— Чего только не пробовал, не будем об этом. Вы прямо вчера и приехали?

— Конечно! Как только вы сказали, что сегодня улетаете и что это — единственная возможность вас поймать, я немедленно заказал номер, и как тот тенор в опере — «чуть свет — у ваших ног!».

Где это он такую оперу слышал, интересно. Может, в своем Челябинске? Нет, милый, не дай тебе бог лежать у моих ног...

На журнальном столике стояла бутылка «Курвуазье» и две коньячные рюмки, но видно было, что бедняга уже изнемогает: ни сесть не предложил, ни выпить. Вот это страсть, я понимаю...

— Ну что ж, приступим, — сказал Кордовин. — У меня ведь и правда совсем мало времени.

— Только одно слово, — нервно потирая ладони, будто ввинчивая одну в другую, проговорил Владимир Игоревич. — Это необходимо... Вам, Захар Миронович, приходится сталкиваться с самым разным человеком — сейчас даже откровенное быдло знает, во что вкладывать деньги. И я представляю вашу брезгливость к таким вынужденным знакомствам, как вот наше. Не возражайте, я знаю! Но, видите ли, Захар Миронович... коллекционерский возраст мой действительно младенческий — раньше не было возможности собирать искусство, откуда деньги у рядового советского инженера-изобретателя? Но любитель живописи я со стажем, с молодости. Помню,

28 нагрнешь в Москву, в командировку на три дня, чемодан в гостиницу — а сам рысью в Пушкинский, в Третьяковку... Неловко признаться, сам маленько балуюсь красками... Ну и читал много чего. Вашу книгу «Судьбы русского искусства за рубежом» — тоже разыскал в Интернете, прочел. Был бы счастлив пригласить вас к себе.

— В Челябинск? — с любопытством спросил эксперт. Он с пристальным удовольствием наблюдал, как искренне клиент пытается отмежеваться от *быдла*.

— Зачем же в Челябинск, — усмехнулся Владимир Игоревич. — Свою коллекцию я предпочитаю держать здесь — у себя в Кейсариин. И если сегодня... если сам Кордовин даст положительное заключение об авторстве... Словом, если вы сейчас скажете свое «да», это будет мой третий Фальк. И самый отменный!

Он подскочил к дивану — при своей грузности толстяк не лишен был некоторой увалистой грации — и развернул картину лицом. И рядом стал, как в карауле: напряженный, с покрасневшей лысиной, переводя пытливо-умоляющий взгляд с холста на эксперта. Не забыл ли он сегодня принять таблетку от давления — вот в чем вопрос.

Опустившись в кресло, Кордовин неторопливо достал из нагрудного кармана пиджака очки, молча надел и стал разглядывать полотно — с расстояния.

Картина являла собой пейзаж. На переднем плане — куст, за ним виден серый дачный забор и небольшой участок тропинки, по которой идет смутная в сумерках женщина. На заднем плане — красная крыша дома и купа деревьев.

— Из «Хотьковской» серии? — наконец проговорил Кордовин.

— Точно! — обрадовался Владимир Игоревич. — Вот что значит специалист! Она и называется: «Пасмурный день. Хотьково». И старуха-владелица помнит именно это название. Представляете, имя автора забыла, а название, говорит, все годы, как стихи, помнила!

— Это бывает. — Он вздохнул. — А что там с *провенансом*?

— На мой взгляд, все безупречно, — откликнулся коллекционер, обнаруживая приятную осведомленность в терминологии *предмета*. — Есть письменное подтверждение хозяйки. Старушка — вдова израильского адвоката средней руки, причем, его вторая жена. Картину помнит на стене все двадцать пять лет брака, говорит, что муж вывез ее в пятьдесят шестом из Москвы.

— Купил? Подарили? Подробности?

— К сожалению, ничего. У бедняжки цветущий Альцгеймер. — Он махнул рукой. — А по мне, так даже и лучше: по крайней мере, все выглядит семейно-естественно. И что ценно — на приличном расстоянии от российского рынка, с его густопсовыми фальшаками.

Это правильно. Насчет российского рынка — это вы в самую точку, уважаемый. А старые вдовы — они чем особенно ценны? Слабым зрением и цветущим Альцгеймером: ни черта не помнят, кроме событий сегодняшнего утра.

(Мгновенно перед глазами возникло то последнее, все жилы вытянувшее свидание, когда старуха, выгладив ладонью полученную от него *штуку зеленых*, соизволила наконец написать бумагу: «Вот, опять забыла название... Посмотрите, Захарик, может, там на обороте написано?») И он перевернул холст и четко продиктовал, старательно вглядываясь в несуществующую надпись: «Пасмурный день точка Хотьково».)

30 — Вам подать картину? — Владимир Игоревич с готовностью устремился всем корпусом — хватать-передавать, поддерживать, расстилать и освещать. Ему хотелось кружить вокруг картины и ласкать ее руками и взглядами — вполне естественное, сродни влюбленности, состояние для подлинного коллекционера, которое распространяется и на уважаемого эксперта. Между прочим, история *предмета* знает и случаи благодарственного лобызания рук.

— Погодите.

Кордовин снял очки и аккуратно сложил дужки дорогой модной оправы — как руки покойнику. Помедлил...

— Прежде всего я хотел бы вот что выяснить: вам, Владимир Игоревич, нужно мое действительное мнение или моя подпись под заключением?

Толстяк ахнул, вспыхнул. Ну что ж... Эмоциональный человек и, кажется, искренний любитель искусства, не жлоб какой-нибудь, даром, что завод украл... или рудник все-таки?

— Захар Миронович! Кто ж захочет, чтобы ему в коллекцию *фальшак вморозили!*

— Не скажите, — усмехнулся тот. — Лет восемь назад мне пришлось быть экспертом со стороны покупателя. Две картины, помню, предлагались: Машкова и, кстати, Фалька. Так вот, убогий слепец со зрелыми катарактами на обоих глазах определил бы, что сработаны эти две картинки одной рукой. Причем, без перерыва на кофе. Случай, казалось бы, ясный. Однако «коллекционер» рвал удила и неистово требовал сторговаться. Я был в идиотской ситуации. Конечно, в таких случаях идеально сравнение рентгенограмм — ведь поддельщики имитируют, как правило, только видимую часть, фактуру завершающих мазков, до осмысленного построения картины у них

ручонки не доходят. Но рентген подразумевает наличие аппарата и рентгенолога.

— И что? — спросил Владимир Игоревич с тем выражением на лице, с каким смотрят финальную погоню в кинотриллере.

— Я просто молча сел в машину и уехал, поскольку никогда не подпишу заключения на фальшивку. Но года через два эти два ковбоя-близнеца были выставлены на одном уважаемом аукционе, с заключением более покладистого эксперта из «Арт-Модуса», и недурно проданы. Весьма недурно. Впятеро дороже, помнится... Да. А в доме капитана легендарного «Эксодуса» — того самого, того самого — я видел огромного Малевича: два на три метра, какого в природе никогда не существовало. И он славному капитану чрезвычайно понравился. Несмотря на откровенные отзывы многих экспертов. Понимаете... Владимир Игоревич, — задумчиво продолжал он. — Будем смотреть правде в глаза. В последние годы охота за действительно ценными произведениями искусства становится все беспощаднее. Власть эксперта приобретает какие-то несоразмерные, неоправданные масштабы. И хотя это — моя профессия, — вы ведь позволите быть с вами откровенным? — мне омерзительно сейчас выглядеть в ваших глазах волшебником и чародеем. Я не чародей.

— Господи, да я ж! — всплеснул тот руками. — Я понимаю и полностью даю себе отчет, что...

— ...а сейчас, пожалуй, взглянем на нее поближе.

Владимир Игоревич кинулся и осторожно, на вытянутых руках передал картину эксперту.

Тот молча повернул ее, стал рассматривать подрамник и холст с оборота... Несколько минут тишину нарушало лишь взволнованное сопение толстяка, склоненного в напряженном полупоклоне, да снизу

32 то и дело вспыхивали детские вопли, сопровождаемые шлепками по воде, и женский голос тягуче выпевал: «А я говорю, ты получишь по за-аднице...»

— Вы, конечно, знаете, — наконец проговорил Кордовин, — что серьезной экспертизой считается комплексная. То бишь, помимо искусствоведческого заключения, необходим ряд технологических исследований: рентгеновская съемка, химический анализ... Можно еще над микроскопом пошаманить, набормотать нечто о пигментах, связующих... Такие заключения получают в какой-нибудь солидной экспертной организации.

— Захар Миронович! — взмолился коллекционер. — Бог с ними, с организациями. Мне нужно исключительно ваше мнение. Вы-то сами, что вы думаете?

— Нет, погодите. Я, конечно, тороплюсь, но своей репутацией дорожу поболее, чем своим временем. И сейчас хочу быть предельно с вами откровенным. Вы смотрите на меня, как на господа бога, Владимир Игоревич, а я, увы, не распределяю места в раю. Ужас в том, что все равно никто не может взять на себя полной ответственности за выводы экспертизы. Вы ведь, конечно, читали о самом громком скандале в искусстве двадцатого века, когда опытейший эксперт, историк искусства доктор Абрахам Бредиус принял подделку Ван Меегерена за работу Вермеера? А недавний скандал с картиной якобы Шишкина, а на самом деле голландца Мариуса Кукукка, которого прозвала Третьяковка? И некий российский «коллекционер» за мно-о-ого тысяч изумрудных дукатов приобрел «фуффло голимое» — кстати, этим искусствоведческим термином меня обогатил один из дилеров, имеющий за плечами десять лет уголовного прошлого. Он решил сменить рэкет на торговлю

антиквариатом, так как в этом бизнесе больше прибыли и *уважухи*.

Самое же трагикомичное в нашем деле то, что иногда и сам художник не в состоянии отличить свою работу от подделки. Когда Клод Латур, знаменитая парижская поддельщица, была разоблачена и предстала перед судом, то сам Утрилло попал в нелепое положение: он не смог определенно ответить, выполнена картина им самим или подделана. А Вламинк хвалился, что однажды написал картину в стиле Сезанна, и тот признал в ней свое авторство.

— Но... тогда как же? — беспомощно выдохнул коллекционер. — Где же гарантия...

— Да не может быть никакой гарантии, голубчик! — сердито воскликнул Кордовин. — Какая там гарантия: музеи мира и частные коллекции на треть забиты фальшаками, при всех их химических анализах, рентгенах, инфракрасных и ультрафиолетовых лучах! Вы что, полагаете, мастера-изготовители подделок глупее нас, экспертов? Среди них встречаются подлинные виртуозы, высокочеловеческие профессионалы... И они прекрасно разбираются в методах экспертизы, учитывая все технологические критерии подлинности — даже психологию самих экспертов!

— А как же быть...

Кордовин вытянул платок из кармана, неторопливо протер им стекла, вновь надел очки — *оживил покойника*. С явным удовлетворением оглядел клиента. Отличная работа: тот пребывал в нужной точке замерзания. Сейчас приступим к размораживанию и реанимации...

— Как быть? — переспросил он. — Смотреть и видеть. Я предпочитаю делать выводы по красочному слою. Вот что никогда вас не подведет, не обманет — при условии, что вы сумеете его прочесть. В нем все: живописная манера, эмоциональный ритм, ин-

34 дивидуальное движение кисти, способ нанесения краски, — все, что присуще этому, и только этому художнику... Как, знаете, в случае со шпионом, изменившим внешность: форма бровей и носа, цвет волос — все изменилось... а ступает исключительно с левой ноги, и точка! Вот эта левая нога — в ней разоблачение. Хотя, конечно, значение технологической экспертизы полностью отрицать невозможно. И ваше право ее потом произвести. Я же просто смотрю на холст и — да, полагаю, это авторство Фалька, и сейчас объясню почему, но прошу учесть — это всего лишь мое предположение, основанное исключительно на опыте, то бишь на интуиции, а еще точнее — на собачьем нюхе, простите за плебейский термин.

Он откинулся к спинке кресла, придерживая левой ладонью стоящий на коленях пейзаж...

Сейчас, когда была сыграна увертюра, когда прозвучали все главные темы симфонии под названием «Рождение новой Венеры из пены морской», можно перейти к свободным вариациям. Он любил такие внезапные переходы к вроде бы незначимым байкам, сплетням о великих, к поучительным историям, с кем-то произошедшим... Это напоминало ему прелюдию в любви, когда любое нетерпеливое движение может смять нарастающее сладкое томление, тягу к обладанию... — в нашем случае картиной, а не женщиной, но это одно и то же. Венера уже нарождалась... Уже, можно сказать, среди пенистых волн показалась ее спутанная рыжая макушка... Кроме того, неплохо бы разогнуть клиента, а то у него — человек-то немолодой — может и *в поясицу вступить*. И тогда уж «Золотой ус» потребуется...

— В восьмидесятых годах в Москве, в Лаврушинском, жил один старичок-инвалид, передвигался на двух костылях... Да сядьте вы, бога ради, Владимир

Игоревич, и расслабьтесь. Садитесь вот тут, напротив, заодно полюбуется лишний раз на своего Фалька. Так вот, старичок. Он состоял в экспертной комиссии Пушкинского музея. Не того, на Волхонке, а другого, литературного, на Пречистенке. Но это не важно. Когда музей собирался приобрести очередную картину, созывалась, натурально, комиссия, и все эксперты высказывались. А старичок молчал. Ему давали слово последнему. Тогда все умолкали, а он склонялся над изнанкой холста и нюхал его. Понимаете? Долго-долго нюхал... И выносил приговор. Никто не знал, что он там чуял, в этих старых холстах. Но верили его волосатой ноздре больше, чем любому прибору. Согласитесь, все это мало напоминает научный метод. Какая уж там наука — чистая интуиция знатока. Но и торговцам искусством, и вам, коллекционерам, мало толку от наших предположений. Вы требуете однозначных положительных выводов, не так ли? Вон как вы волнуетесь и хотите, я же вижу, очень хотите, чтобы я признал авторство Фалька! Придвиньтесь сюда, поближе...

Эксперт поднялся и, сдвинув в сторону ребром ладони бутылку и бокалы, опустил картину плашмя на журнальный стол, ровно освещенный утренним светом из открытой балконной двери...

— Видите, какой отличный свет, пока солнце не взошло. Не зря я назначил вам свидание в такую рань. — Он достал из кармана лупу... — Впрочем, — проговорил, — тут и лупа не нужна. Вот, смотрите сами. Я сейчас подробно расскажу ход моих соображений. Сделаю вас соучастником, если хотите — соавтором экспертизы. Итак, первое впечатление: холст в приличном состоянии. Полагаю, фабричная грунтовка. Фальк — в отличие, например, от Кончаловского, который грунтовал холсты сам, — охотно пользовался готовыми советскими холстами какой-

36 нибудь ленинградской или подольской фабрики, впрочем, французскими тоже не брезговал, но то было до войны... Подрамник родной, тоже старый, сороковые годы. Откуда это видно? И тот и другой постарели одновременно под воздействием света. Ну, и естественные загрязнения. Вот, под нижней планкой подрамника пыли и грязи побольше — взгляните сами. Не говоря уже о мушиных засидах... А мушки тут потрудились немало, но они, родимые, в этом случае наши союзники. Таким образом, убеждаемся, что холст натянута на подрамник отнюдь не вчера. Ну-с, далее, — красочный слой...

Он слегка разогнулся, сморщился от боли в руке... осторожно помассировал запястье.

— Сказать вам, Владимир Игоревич, на что первым делом обращают внимание эксперты-технологи при отборе проб? На пластичность красочного слоя. Воткнули иголку и сразу скажут: «Это написано вчера». Что в нашем случае? Видно, что не так давно картина прошла деликатную и очень профессиональную реставрацию по поводу небольших утрат красочного слоя.

— Ух ты, а как вы заметили? — восхищенно воскликнул коллекционер. — Ведь совершенно ничего не видно! Меня информировали о реставрации, но я не смог...

— А вы присмотритесь... — Эксперт навел лупу на холст: под увеличительным стеклом выгнулся румяным коржилом конек крыши. — В двух местах: вот здесь... и здесь произведена «мастиковка», то есть подведен грунт и замечательно точно затонирован. Но краска более... ммм... поверхностная, гораздо более свежая, неужели вы не замечаете? Далее — естественный легкий кракелюр — вот эти крошечные трещинки, — все соответствует временным условиям и тому, какие разрушения типичны для Фалька.

Казалось бы: состояние картины полностью отвечает ее провенансу. Но! 37

Он учительским жестом поднял указательный палец и переждал крошечную строгую паузу, после чего продолжал:

— Но старый холст можно раздобыть; кракелюр, сравнительно «молодой», подделать нетрудно. Главное не это, а сам красочный слой, его жизнь... Вглядитесь в него. Что мы видим? Потрясающую многослойную живопись — такую подделать непросто: невероятной сложности вся гамма оттенков серого и зеленого... Вдова Фалька Ангелина Щёкин-Кротова где-то вспоминает, что однажды спросила его: «Ты выдумываешь это огромное количество градаций зеленого цвета?» Обратите внимание — вам хорошо видно? да придвиньтесь же теснее, ближе, не стесняйтесь, — обратите внимание: в верхних слоях наравне с работой кистью ясно видна работа мастихином. Совершенно фальковская манера заполнять живописное пространство холста. Куст на переднем плане написан широко и очень обобщенно; взгляд зрителя как бы пробегает мимо и упирается в забор... По состоянию природы в картине угадывается начало осени, что подтверждают воспоминания вдовы — она рассказывала: лето в тот год внезапно кончилось, начались холодные дожди... и это еще одно подтверждение подлинности картины. Смотрите, весь пейзаж буквально вибрирует воздухом; красочный слой в некоторых местах холста... вот тут... тут... и тут лежит драгоценными сгустками.

Он осторожно и чутко, как слепец, подушечками пальцев обеих рук огладил холст, откинулся и широко улыбнулся, давая углубиться детски доверчивым черточкам в углах рта:

— Вам ничего не напоминает эта поверхность? А? Например, мозаику... Может, вам будет интересно:

38 для восстановления красочного слоя после частичного просыхания Фальк протирал поверхность холста чесноком — чтобы размягчить верхнюю корку. Александра Вениаминовна Азарх-Грановская, его свояченица, рассказывала моему другу, который был вхож в дом в годы ее глубокой старости, что однажды ей стало дурно от резкого запаха в квартире — у нее была аллергия на чеснок. Она пошла на запах и обнаружила на балконе протертую чесноком картину. И хотя со времени написания вот этого пейзажа прошло лет шестьдесят, наш знакомый старичок, наш инвалид с Лаврушинского, наверняка унюхал бы своим чудовищным соплом давно угасший запах. Может, и вам повезет? Нагнитесь пониже...

Заинтригованный Владимир Игоревич послушно нагнулся, доверчиво протянул лицо к самой поверхности холста — так тянут дрожащие от страсти губы к вожделенному лону — и шумно втянул носом воздух. На его серой глянцево-лысине обнаружилась звездная россыпь багровых родинок.

— Ей-богу... — прерывисто вдыхая, взволнованно проговорил он, — а ведь, ей-же богу, слабый запах... есть! Я, знаете, его и ночью слышал. Откуда здесь, думаю, чеснок?

Он выглядел потрясенным, покоренным... и уже ликовал.

— Нет, погодите, — Кордовин остановил его поднятой рукой в синей вязаной перчатке. — Где ваша добросовестность, коллега? А еще гонорар получаете. Мы не закончили. И так... В картине, повторим, преобладает любимая палитра Роберта Фалька: серые тона самых разнообразных оттенков — от желто-зеленовато-серых до фиолетово-серо-жемчужных. Эту общую серовато-голубовато-охристую гамму взрывают два пятна: изумрудно-зеленый куст за забором и красная крыша дома... Кстати, это

бывший дом священника, с огромным старым садом, липы вековые, ветхая терраска... — все можно прочесть в воспоминаниях Ангелины Васильевны, вдовы. И при внимательном рассмотрении можно заметить: разнообразные оттенки зеленоватого и красноватого эхом рассыпаны по всему холсту, как бы отзываясь основным цветовым аккордам. Это все тот же Фальк: его удивительная живописная цельность при сложнейших цветовых градациях... Я вижу, вы утомились?

— Что вы,нисколько! — с жаром воскликнул толстяк. — Я наслаждаюсь, я...!

— ...ну, и наконец. В углу полотна, на заборе, невесомым, но оживляющим белым мазком обозначена голубка, сидит — нахохлилась в мелкой мороси дождя.

— Голубка, правда! — почему-то умилился коллекционер, щурясь и вглядываясь в пейзаж. — Надо же, а я ее и не заметил вначале.

— *Вот и лето прошло*, как писал один хороший поэт... Всё, Владимир Игоревич!

Кордовин откинулся в кресле, снял очки и устало помассировал прикрытые веки большим и указательным пальцами левой руки.

— Академическим языком выражаясь, это — частное экспертное заключение, основанное на тщательном осмотре и анализе живописного слоя картины. А по-простому, по-нашенски: хрен вам такую живопись наклепают шустрые ребята из подпольных мастерских где-нибудь в Далият-аль-Кармель. Они все больше кандинских-малевичей строгают — тех легче подделать. А такой живописец им не по зубам, нет... Вы, конечно, можете еще обратиться в какое-нибудь солидное учреждение за комплексной экспертизой, с применением спецоборудования... — маслом каши, как говорится, не-не-не. Но,